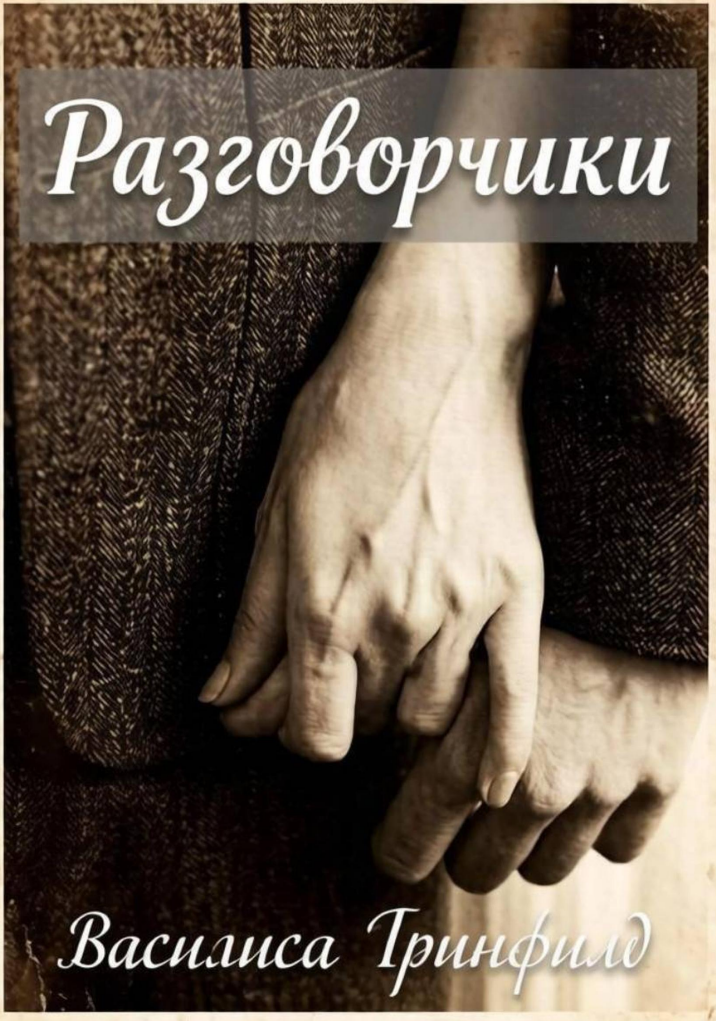

Разговорчики
Василиса Тринфилд

Василиса Гринфилд
Разговорчики

https://litres.ru/74735672
SelfPub; 2026

Аннотация

Я прошу, хоть не надолго
Грусть моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда -- к родному дому...
Рассказы о любви, эмиграции, России.

Содержание

Разговорчики (Фиолетовый кобальт)	4
Разговорчики (Жизнь)	8
Разговорчики (В поезде)	10
Разговорчики (В окопе)	15
Разговорчики (Милый Петя)	17
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Василиса Гринфилд
Разговорчики

Разговорчики
(Фиолетовый кобальт)

«… и если вначале, Оленька, присутствие Николая Петровича в нашем доме, казалось мне лишним и неуместным, то теперь, я испытываю к нему совершенно иные чувства. Да-да, Оленька, совершенно иные!

Прежде я принимал его за фата, несерьезного, никчемного человека, манкирующего государственной службой, не желающего приносить пользу обществу. Однако, наблюдая за Вами и за альтерациями, случившимися в нашем доме, я чувствую, что был несправедлив.

Милая Оленька, вырвав Вас из привычного мира, и привезя сюда, в имение, в деревню, я ни минуты не задумывался о том, что Вам может быть здесь скушно или тягостно — я привык к неспешному течению времени, к покою и разумной размеренности. Мне казалось, что и Вы приняли эту жизнь и она вполне Вам по нраву.

Как же Вы переменились, душа моя. Разительно! Я снова увидел ту весёлую порывистость, импульсивность, ту дет-

скую беззаботность, что когда-то пленила меня. Эти вечерние чтения у нас на веранде, прогулки, пленэры, рассуждения об искусстве, люди, вдруг заполнившие комнаты – поэты, музыканты, художники, театралы и прочая публика из местных, появившаяся вместе с Николаем Петровичем – они вновь разожгли в Вас огонь. Я и забыл, как Вы умеете смеяться, как шутите, как очаровательно аккомпанируете на рояле.

Возможно, Вас удивила моя вчерашняя несдержанность, и торопливость, с которой я увлек Вас подальше от гостей, в глубину сада. Но поверьте, я ничего не мог с собой поделать. Ничего-с! И даже сейчас, сидя в кабинете земской управы, я думаю о Вас и о ярком, шалфеевом мазке краски, скрытым легкими прядями волос. Оленька, клянусь, я не видел ничего прекраснее этого росчерка на Вашей щеке…»

***

«… вскрикнул. Глупое сочетание, но право, я не могу подобрать другого. Так, верно, кричит лис, попавший в капкан. Судорожно. Нервно. Стараясь не выдать себя голосом.

— Что это у Вас, вот тут, на щеке? – дрожа всем телом, спросил он. — Извольте объясниться!

Я подумала, что виной тому неосторожность и кто-то, видел нас сегодня в роще, но потом Осип Михайлович прижал меня к яблоне и трясущимися руками отвел волосы от лица.

— Где? О чем Вы? Не понимаю… – отвечала я

— Вот здесь, Оленька, туточки-с. Мне кажется, это крас-

ка. Да! Точно, краска, никакого сомнения!

Его пальцы прошлись по щеке вверх и вниз, будто Осип Михайлович, хотел размазать её, втереть в кожу. Я раньше не замечала, что подушечки на пальцах у него тёплые и чуть влажные, как садовые слизни.

— Это фиолетовый кобальт, Осип Михайлович. Мы с Николаем Петровичем писали шалфей. Помните поляну вдоль леса? Вон там…

— Шалфей значит? И как?

— Почти кончили.

— И хорошо. И замечательно, Олечка.

Осип Михайлович всё что-то бормотал, и водил по моей щеке, целовал шею, а я думала о Вас. Всё о Вас. И Ваших пальцах, перепачканных в фиолетовом кобальте».

***

«И Вам доброго времени суток, милый мой Сереженька! Хочу ещё раз поблагодарить Вас за то, что похлопотали о моём устройстве: хозяин – настоящий филин — мне не докучал, флигель отвели прекрасный, а публика, хоть и провинциальна донельзя, зато отзывчива. Принимали меня радушно, душевно, можно сказать. А виды! Что здесь за виды! Чистый восторг.

Но пора и честь знать, не то заскучаю. В ближайшее время соберу чемоданы и в Москву! В Москву! К выставкам, к званным обедам, к газетам и прочей шелухе, которой мне так уже (чрезвычайно!) не хватает.

А ты дорогой друг, будь ласков, загляни в художественную лавку на Кузнецком Мосту, купи холста хорошего, да краски полфунта – фиолетовый кобальт. Понимаешь, закончился, зараза…»

1912 год

Разговорчики (Жизнь)

— … а потом всё вдруг - бац! – и кончилось. Я не знал, что делать, просто места себе не находил. Нервы расстроились ужасно! Ужасно! Я, то хотел застрелиться, то принимался строить невообразимые прожекты. Представлял, как пересекаю Атлантику на какой-нибудь утлой лодчёнке или поднимаюсь на самую неприступную в мире вершину, а может напишу роман. Вот тогда-то она узнает мне цену, поймёт кого потеряла! Всё думал только про неё и только о ней. Жизни без неё не мыслил…Бывал во всех местах, где она могла появиться. Засыпал её письмами и цветами, караулил у подъезда.

Мой собеседник замолчал, достал из кармана пиджака портсигар, звонко щелкнул крышкой и достал сигарету. На балконе было удивительно тихо. Только бабочки бились о стекло подвешенного на перилах фонаря, да далеко-далеко, там, за полем и рощей, густо и протяжно сообщал о своем прибытии на станцию поезд.

— И что потом? — спросил я.

— А представляете, ничего! Проснулся однажды и чувствую — не болит, грудь не давит и дышать будто легче. Попустило, значит. Я снова стал много работать, завёл себе практику. Женился. Сын-гимназист. Живу вот.

Он чиркнул спичкой, поднес её к сигарете и прикурил. На

мгновение неяркое пламя озарило его худое, вытянутое лицо — желтое, скучное и строгое. Даже в голове не укладывалось, что такой человек мог чувствовать то, о чём говорил. Испытывать что-то яркое, сильное, волнующее.

— Да-а-а. Живу и живу, — он глубоко затянулся, откинулся на спинку кресла и больше за весь вечер не произнёс ни слова.

1914 год

Разговорчики (В поезде)

Я столкнулся с Грачёвым на перроне. Оказалось, он едет в том же поезде, только через купе от меня. Едет в Сибирь по долгу службы. Месяца на два или три.

Я тотчас пригласил его к себе. В студенчестве мы с Грачёвым приятельствовали, да и после некоторое время поддерживали знакомство. Он, приезжая в Москву, останавливался у меня, а я бывая в Петербурге, непременно заглядывал к нему в квартиру на Лиговской. Некоторое время мы обсуждали продвижение по службе, ругали правительство и начальников, вспоминали старых знакомых.

Наконец, я спросил.

— Скажи, а что Сашенька?

— Сашенька? — удивился Грачёв.

— Вот чудак человек! Сашенька Ракитина. Ну? Ну! Ты ещё ухаживал за ней. И даже жениться хотел. Точно помню! Я завидовал немного тогда: красавица, из хорошей семьи, а обратила внимание на такого оболтуса! И что в тебе нашла? До сих пор не понимаю! Нос — длинный, волос — черный, сам — смурый. Вылитый грач, ей-ей!

Он кивнул, соглашаясь.

— Мне и самому это было удивительно. Я и она — парадокс! Но ничего из нашего увлечения, мой друг, не вышло...

— Как так?

— А вот так! И виной всему случай. Преглупый. Сейчас я бы и значения ему не придал, но в пору юности...

— Знаю-знаю! Тонкая душевная организация.

— Именно! Но история и правда занятная.

— Так рассказывай, Грачёв, не томи!

— Случилось это вначале зимы. Я вышел из кондитерской — покупал Саше её любимый шоколад. Только сделал шаг на мостовую, как какой-то расхристанный мужчина налетел на меня. Коробка с конфетами, естественно, в грязь. Картон разом промок, бант розовый (до сих пор помню!) съехал, а на крышке красовались из мокрого снега. Как теперь идти к Сашеньке? Ведь я обещал, что непременно, непременно принесу!

Вернуться в кондитерскую и купить новую коробку конфет я не мог, потому что уже потратил все сэкономленные на обедах деньги. Злые слезы жгли глаза, и мне едва хватало сил, чтобы не разреветься, глупо и пошло, как безусый гимназист.

— Да чтоб Вас! Неужто нельзя смотреть под ноги! — воскликнул я в сердцах. —Гляньте, что Вы натворили!

Расхристанный мужчина, остановился и споро обернулся ко мне. На его взволнованном лице читалось удивление.

— Вы это мне, сударь?

— А кому ж ещё? Надо ж быть таким неуклюжим!

Я наклонился, чтобы поднять с земли коробку, но мужчина меня опередил.

— Что ж! Простите великодушно если ненароком Вас зацепил... Пребывал в сильнейшем расстройстве.

Теперь я смог как следует рассмотреть его. Высокий. Выше меня на целую голову. Темные волосы непокрыты и в ужасном беспорядке. Щеки горят, а лицо наоборот, бледное, почти белое. Одет небрежно, будто второпях, но дорого. Серое пальто с бобровым воротником и под пальто серый же, шерстяной костюм. Во всем его облике, в каждом движении, слове, взгляде, чувствовалось напряжение. Он был как натянутая струна. Чуть поверни колок — порвётся!

Он принялся рукавом пальто смахивать с крышки серые кляксы, но сделал только хуже. Грязь размазалась, и теперь коробка выглядела так, будто ее специально окунули в лужу.

— Ах, простите! Какой конфуз! Вы верно купили в подарок? — спросил мужчина. Слова вылетали из его рта скороговоркой, цепляясь друг за друга.

— Да, — ответил я.

— И кому?

— Невесте.

Мужчина всплеснул руками и сделав шаг вперёд, положил руки мне на плечи. Он склонился ко мне и сбивчиво, лихорадочно зашептал.

— А ведь это знак! Точно знак! Никогда не женитесь, друг мой! Это сейчас Вы витаете в облаках, а потом станет скучно, мелко. Тьфу! Поверьте! — его лицо приблизилось ко мне настолько, что я мог взглянуть в его блестящие, влажные глаза.

Они показались мне абсолютно пустыми. — Я вот сегодня говорю ей: "Мне нынче сам Плевако, Федор Никифорович руку жал. Сказал, что я блестяще провел защиту. Блестяще!" А она: "Котлетки-то рыбные подавать? Стынут." Каково, а? Котлетки!

Он сунул мне в руки размокшую коробку и махнул рукой проезжающему мимо извозчику.

— Давай к Кюба,— и взобравшись на подножку крикнул уже мне. — Попомните! Котлетки!

Я вернулся домой в полном смятении. О том, чтобы пойти к Сашеньке нечего было и думать: когда я открыл коробку, оказалось, что конфеты промокли и слиплись. Я съел их все, запивая горячим чаем и всё думая о странном незнакомце.

"Глупость какая! Расскажу завтра Сашеньке. Вот смеху-то будет."

Но я не пошёл к Ракитиным ни завтра, ни через неделю, ни через месяц. Постоянно возникали какие-то срочные дела или непредвиденные обстоятельства. А потом я вовсе уехал к дяде в Архангельск. Больше я Сашеньку не видел. Да оно и к лучшему... Чем я мог оправдаться? Котлетами?

Грачёв передёрнул плечами, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.

— И ты так и не женился? — спросил я

— Нет.

Мы немного помолчали. Потом Грачёв сказал.

— Шоколад с тех пор не люблю. И чай горячий.

И добавил то ли горько, то ли язвительно.

— Я слышал, что на судьбу человека влияют звёзды или планеты. Но чтоб котлеты, да ещё рыбные... Э-э-эх...

— Да-а-а...— протянул я. Больше ничего мне в голову не пришло.

Поезд Петербург— Владивосток

1916 год

Разговорчики (В окопе)

— Слаще бабы на сенокосе ничего нет. Она косой до полудня намашется, на солнце спечётся — тут и бери её, пока в теньке отдыхает. Летом бабы горячие, будто печки, духовитые. Навалишься на неё…

— Тьфу, на тебя, Прошка! И на баб твоих! Что за язык-то поганый, ровно метла! Метёшь и метёшь безо всякого соображения. Тут, вона, его благородие сидит. Ему твои рассуждения без надобности…

— А ты мне рот не затыкай! Я на войне поболее тебя буду, и так скажу – разговоры про баб они самые важные. Про што ишшо балакать? Про немца? Про атаки их газовые? Про вшей, аль дзентярию? Этого у нас и так по-горлышко, в достатке, аж блевать хочется. А вот когда про баб говоришь – нет. Потому что бабы – они для лучшего человечьего устройства сделаны. Без них никак. Правильно я говорю, ваш благородие?

— Правильно, Прохор, правильно. Без женщин нам и правда худо.

— Вот! А то всё: «Прошка, Прошка!» Поди и думаете о них, о бабах, значиться, да?

— Прошка!

— Чаво орёшь? Пусть его благородие-то ответит.

— Отвечу. Отчего не думать? Думаю. Иногда так задума-

ешься, что и забудешь, где ты, пока немец не пальнет. Тогда встрепенёшься, и опять живёшь этой страшной жизнью. До следующей думки.

— Ага… А вы как про баб думаете? Как я, предметно или по-своему, по-благородному?

— Прошка!

— Так антересно, щупает он бабу в мыслях или нет!

— По-разному, Прохор, по-разному. Бывает и щупаю. Но чаще вспоминаю, как обнимал жену перед отъездом. Уже темно и спать пора, потому что утром поезд, а мы не заходим в дом, стоим на крыльце. Она, маленькая смешная, растерянная, совсем девчонка, уткнулась лицом мне в грудь и говорит все одно: «Ты только береги себя, хорошо? Для меня и для Ванечки». Я киваю и тоже говорю: «Хорошо, хорошо. Непременно». А сам думаю: "Как же беречь? Вот глупая." Волосы у неё пахнут чем-то дымным, навроде полыни и я бы отдал все на свете, чтобы просто стоять и не отпускать её.

— Ишь ты, как завернул, етить твою…

— Прошка!

— Чаво? Красиво, говорю…

(1916 год)

Разговорчики (Милый Петя)

Петербург ноябрь 1917 г.

«Здравствуйте, Пётр Алексеевич. Вчера Стеша сказала мне, что столкнулась с Вами нос к носу, но Вы её не узнали. Я спросила, не обозналась ли она, но Стеша твёрдо стояла на том, что это были Вы.

«Да чтоб провалится мне на этом месте! Ей-ей! Уж Петрушу-то я завсегда узнаю. И нос его и уши! И шрам над губой — вот туточки! — где его жеребёнок лягнул! Нешто такое можно спутать?».

Я всё расспрашивала про Вас, но она толком ничего не могла объяснить. Только, что на Вас было кожаное пальто, и что Вы похудели и стали длинным, как оглобля. Чур, только не сердитесь! Это её слова, не мои!

Как сейчас сыро, слякотно и промозгло, правда? Стоит выйти на улицу и ботинки промокают разом, так что приходится ставить их сушить возле печки. Печка-печка — наша спасительница. Мы уже не топим в дальних комнатах, только в гостиной и на кухне – дрова дороги, их очень трудно достать. А в каком виде я ложусь спать – Петр Алексеевич, Вы бы лопнули от смеха если б увидали! Поверх домашнего платья надеваю связанную Стешей кофту (вяжет Стеша дурно, зато с превеликим удовольствием) волосы повязываю шарфом, в ноги кладу грелку. И всё равно утром чаще все-

го просыпаюсь от холода. Лиза, стаскивает с меня одеяло и заворачивается в него будто кутёнок. Мы спим пока вместе – для тепла.

Знаете, я часто вспоминаю и Дачу, и Лето. Ох, весело было нам катить на велосипедах через лес и распугивать клаксоном сидящих в кустах дроздов!

А купанья? Чай с малиной по вечерам и игра в шарады? Как мил был Рара, когда верхом на палке, закутавшийся в мамину шаль, изображал странствующего рыцаря. Мы так смеялись тогда! Смеялись все, кроме Вас.

Вы были тогда необычайно серьёзны, Пётр Алексеевич: ухаживали за Лёлей, моей кузиной и немного за mama. Mama называла Вас не иначе, как «милый Петя», и вслед за ней, мы тоже стали так называть Вас. Я ведь ужасно влюбилась в Вас в то последнее Лето. Да, да не удивляйтесь! Все наши случайные встречи были вовсе не случайны… И я до сих пор храню в сердце и Ваше крепкое, дружеское пожатие, когда мы прощались на станции, и Вашу смешную косоворотку, шитую крестом по вороту, и улыбку, такую добрую и немного растерянную.

Милый Пётр Алексеевич, надеюсь у Вас всё благополучно. Если будет минутка, навестите нас. Будем несказанно рады.

Пребывающая к Вам в неизменном расположении Вера Сотникова».

Петербург январь 1918 г.

«Милый Пётр Алексеевич, уже минула середина января, и я вновь пишу Вам. Пишу на старый адрес (а может, Вы давно уже оттуда съехали?), даже не получив ответа. Что ж! Всё равно писать мне больше некому. Общих знакомцев в городе не осталось — разъехались. Боятся немцев, боятся красных, боятся белых… Одним словом, боятся всего и вся. Я тоже боюсь, но рара пропадает в больнице, а куда мы без него?

Последними уехали Латыповы, звали нас собой. Предлагали как-нибудь уж добраться до Пскова, пока он оккупирован немцами, а там решать куда двигаться дальше. Рара отказался. Сказал, что не может оставить всех на произвол судьбы. Mama плакала, а он кричал, что оперировать кроме него некому. Потом сел рядом с ней на диван, гладил по волосам и приговаривал: «Ну, будет, будет!».

Мы с mama, Лизой и Стешей почти весь январь сидим дома — снаружи зверский холод и ветер. Улицы почти не убирают, а там, где хоть немного чистят, сугробы накиданы аж до фонарных столбов. Реки и каналы загрязнены чрезвычайно — суда ходят только по основному руслу Невы. Но что я Вам говорю? Вы и сами знаете…

Третьего дня мы с mama ехали в трамвае. На остановке в трамвай вошел офицер. Совсем молоденький, в тоненькой шинели, с пустым рукавом вместо левой руки. На правой руке не было перчатки и она от мороза стала красная, будто её окунули в кипяток. Я обратила внимание, что держался офицер чрезвычайно прямо. Это даже показалось мне немного

болезненным. Он прошел в середину вагона и громко, ясно произнёс: «Простите, мне нечем заплатить за проезд!». И замер, застыл в прямой обречённости, глядя куда-то поверх голов. Никто ничего ему не сказал.

Я пребываю сейчас в необычайном волнении и тревоге. По вечерам я часто плачу, забившись под одеяло. Тихо. Чтобы не расстраивать ни maman, ни papa, ни Лизу. Я не знаю, что принесёт нам завтрашний день, но боюсь, что лучше уже не будет. Всё катиться в какую-то чёрную пропасть, а мы катимся вниз и цепляемся за что можно.

Милый Петр Алексеевич, жаль, что я не могу сейчас увидеть Вас. Если бы представилась такая возможность, я бы обхватила Вас руками крепко-крепко. И никуда бы не отпустила.»

Петербург февраль 1918

«Знаете, в том, что Вы не отвечаете мне, есть и хорошая сторона. Пусть! Зато я теперь могу обращаться к Вам, так, как мне захочется. Вы ведь всё равно этого не прочтёте! Поэтому никаких больше Петров Алексеевичей, я буду звать Вас как раньше: «Милый Петя».

Днём я вместе со Стешей ходила на рынок. Если есть деньги, можно купить, что угодно. И платья, и хлеба, и мяса, и рыбы. Я видела, что продают даже котов, представляете? По три рубля. Стеша сказала, что теперь из котов и собак варят суп, но я ей не поверила. Надо же выдумать такое! Вечно Стеша, простая душа, слушает всякие байки.

Зато в доме, Стеша первая помощница: научилась печь лепешки из картофельных очисток и всегда знает, где можно достать хлеба. Правда в этом хлебе больше опилок, чем муки, но другого-то нет.

Помните кондитерскую Бормана на Невском? Чего там только не было! Конфеты, печенье, вафли и бисквиты! Мы подолгу разглядывали жестяные коробочки и обтянутые бархатом бонбоньерки. А запах? Умопомрачительный! Представьте себе, милый Петя, сейчас я сижу у печки, промокшая и дрожащая, и улыбаясь во весь рот пишу очередное письмо. Я даже чувствую вкус шоколада во рту! Мечты, мечты!

Сейчас к нам приходила Александра Ильинична, с третьего этажа. Их выселяют. Приказано съехать к утру. Александра Ильинична громко ругалась на власти (Gens sales! Свиньи! Свиньи!) и просила разрешения у mama, оставить часть вещей. Mama сказала, что они могут разместить вещи в кабинете – всё равно им пока никто не пользуется. Mama попросила у Александры Ильиничны лишние матрасы или одеяла, потому что Лиза кашляет и кашляет, но она оставила нам только хрусталь, фикус и стопки книг. Я смотрела из окна, как две груженые телеги медленно выползают со двора. С первой на землю упала подушка, а вторая телега проехалась по ней, вминая в кашу из грязи и снега. Фикус Стеша на следующий день снесла на улицу. Mama сделала вид, что не заметила.

Мне действительно страшно, Петя. Город, знакомый с дет-

ства, разительно переменился. Иногда мне кажется, что в нём остались одни рабочие да солдаты. Фабрики и заводы закрыты, и они толпами ходят по улицам (Кто в чём! в тулупах, шинелях, кожаных куртках, пальто с чужого плеча), не зная, чем заняться или пытаясь найти пропитание. У всех в руках какое-нибудь оружие. Дубинка, винтовка, пистолет.

Я вот почему-то очень боюсь пистолетов. Бр-р-р. До дрожи. На площадях митинги. Там кричат и размахивают флагами – красными, белыми, черными. Говорят, о мире с Германией и о войне с Францией… Говорят, что всех, кто не верит в революцию надо расстрелять… Говорят-говорят-говорят! Я ничего не понимаю. Ничего! Боже, что же с нами происходит?

Милый Петя, я всё равно буду писать Вам. В никуда. Без надежды. Потому что Вы, пожалуй, единственный человек, который придает хоть какой-то смысл моей теперешней жизни. Любящая Вас Вера».

Петербург март 1918.

«Милый Петя, пишу Вам скомкано и нервно. Рара забрали. Теперь в любую минуту могут прийти за нами. Говорят, он где-то участвовал. Состоял в какой-то организации.

Заговор? Не могу поверить! Нет. Он бы никогда не пошёл на такое!

Mama плачет. Стешу и Лизу заперли на кухне. Стеша стучит в дверь и голосит: «Откройте! Откройте, Христа ради!». Бедные, бедные, родные мои.

Надо собрать всё мужество. Я буду держаться. Не задрожу. Не испугаюсь. По крайней мере не подам виду. Только вытру щёки. Не хочу, чтобы они видели, что ...

Постой. Стучат. Отво…».

***

Семёныч грохает на стол закипевший чайник. Достаёт с полки эмалированные кружки и сухари. На этаже в Управлении кроме него и начальника — никого.

— Вы сегодня как не родной, Пётр Алексеич. Вроде и сидим за одним столом, а выходит порознь.

— Эх, прав ты, Семёныч, брат-человек. Прав. Щемит на сердце и не отпускает. Глупость, конечно, но поделать ничего не могу. Всё вспоминаю, что было раньше: и гимназию, и лето, и лодки на реке, и раков, и удочки. И девочку, которая была в меня влюблена. Смешная такая, с длинными косицами.

— А что ж потом стало?

— Стала, Семёныч, война и революция. Им наплевать на мальчиков и на девочек с косицами, но всё же жаль…

— Чего жаль то?

— La perte de la belle innocence.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.